

# Содержание

Предисловие

7

**Часть первая**

9

**Часть вторая**

123

Эпилог

265



# Предисловие

Этот роман, написанный в далекие 60-е годы, в годы метафизического отчаяния, может быть понят на двух уровнях. Первый уровень: эта книга описывает ад, причём современный ад, ад на планете Земля без всяких прикрас. Известный американский писатель, профессор Корнеллского университета Джеймс МакКонки писал об этом романе: «...Земля превратилась в ад без осознания людьми, что такая трансформация имела место».

Второй уровень — изображение некоторых людей, которые хотят проникнуть в духовные сферы, куда человеку нет доступа, проникнуть в Великое Неизвестное. От этого они сходят с ума, как будто становятся монстрами.

Первый уровень прежде всего бросается в глаза. Вместе с ним МакКонки пишет, что «виденье, лежащее здесь в основе, — религиозное; и комедия этой книги — смертельна по своей серьёзности». Очевидно, имеется в виду, что описание ада всегда поучительно с религиозной точки зрения. Вспомним Иеронима Босха. Кроме того, изображение духовного кризиса неизбежно ведёт к контрреакции и осмыслению. Иными словами,

происходит глубинный катарсис. Поэтому мне не кажется странным, что этот роман спас жизнь двум русским молодым людям, которые решили покончить жизнь самоубийством. Случайно они вместе прочли за одну ночь этот роман — и отказались от этого решения, осуществить которое они уже были готовы.

Тем не менее не рекомендую читать этот роман тем, кто не подготовлен к такому чтению.

Позиция автора (во всех моих произведениях) одна: это позиция Свидетеля и Наблюдателя, холодная отстранённость. Это ситуация бесстрастного Исследователя. Герои могут безумствовать сколько угодно, но автор остаётся Исследователем и Свидетелем в любом случае. Если угодно, такой исследовательский подход можно назвать научным.

В конечном итоге «Шатуны» были и остаются для меня романом-загадкой. Никакие интерпретации, даже взятые вместе, не исчерпывают его.

# Часть первая



# Глава 1

**В**есной 196... года вечерняя электричка разрезала тьму подмосковных городков и лесов. Мерно несла свои звуки всё дальше и дальше... В вагонах было светло и почти пусто. Люди сидели неподвижно, как замороженные, словно они отключились от всех своих дел и точно такой же жизни. И не знали, куда их несёт этот поезд.

В среднем вагоне находилось всего семь человек. Потрёпанная старушка усталилась в свой мешок с картошкой, чуть не падая в него лицом. Здоровый детина всё время жевал лук, испуганно-прибауточно глядя перед собой в пустоту. Толстая женщина завернулась в клубок, так что не было даже видно её лица.

А в углу сидел он — Фёдор Соннов.

Это был грузный мужчина около сорока лет, со странным, уходящим внутрь, тупо-сосредоточенным лицом. Выражение этого огромного, в извилинах и морщинах лица было зверско-отчуждённое, погружённое в себя, и тоже направленное на мир. Но направленное только в том смысле, что мира для обладателя этого лица словно не существовало.

Одет Фёдор был просто, и серый, чуть рваный пиджак прикрывал большой живот, которым он как-то сосредоточенно двигал в себя и иногда хлопывал его так, как будто живот был его вторым лицом — без глаз, без рта, но может быть, ещё более реальным.

Дышал Фёдор так, что, выдыхая, как будто бы всё равно вдыхал воздух в себя. Часто Соннов ослепевшими от своего громоздкого существования глазами всматривался в сидящих людей.

Он точно прикалывал их к своему взгляду, хотя само его внутреннее существо проходило сквозь них, как сквозь сгущённую пустоту.

Наконец, поезд замедлил ход. Человечки, вдруг виляя задницами, потянулись к выходу. Фёдор встал с таким ощущением, что поднимается слон.

Станция оказалась маленькой, уютно-потерянной, с настойчивыми, покосившимися деревянными домиками. Как только человечки выскочили на перрон, дурь с них сошла, и они, очень странно оживившись, забегали — вперёд, вперёд!

Старушка-мешочница почему-то отнесла свой мешок к тёмному забору и, наклонившись, нагадила в него.

Здоровый детина не бежал, а прямо скакал вперёд, огромными прыжками, ладно размахивая лапами. Видимо, начиналась жизнь. Но Фёдор оставался неизменным. Он брёл, ворочая головой, осматривая окружающее, как будто он только что упал с луны.

На центральной площади два облезлых, как псы, автобуса, стояли на одном месте. Один



был почти пустой. Другой же — так набит людьми, что из него доносилось даже сладострастное шипение. Но Соннов не обращал внимания на всю эту мишуру.

Проходя мимо столба, он вдруг ударил одиноко бродившего рядом пацана прямо в челюсть. Хотя удар был сильный и парень свалился в канаву, сделано это было с таким внутренним безразличием, точно Соннов ткнул пустоту. Лишь физическая судорога прошла по его грузному телу. Такой же оцепенелый он шёл дальше, поглядывая на столбы.

Парень долго не мог очнуться от этого странного выражения, с каким ему был нанесён удар, а когда очнулся, Соннов был уже далеко...

Фёдор брёл по узкой, замороченной нелепобезобразными домами улице. Вдруг он остановился и присел в траву. Поднял рубаху и стал неторопливо, со смыслом и многозначительно, словно в его руке сосредоточилось сознание, похлопывать себя по животу. Смотрел на верхушки деревьев, щерился на звёзды... И вдруг запел.

Пел он надрывно-животно, выхаркивая слова промеж гнилых зубов. Песня была бессмысленно-уголовная. Наконец, Фёдор, подтянув штаны, встал и, похлопав себя по заднице, как бы пошёл вперёд, точно в мозгу его родилась мысль.

Идти было видимо-невидимо. Наконец, свернул он в глухой лес. Деревья уже давно здесь росли без прежней стихии, одухотворённые: не то что они были обгажены блевотиной или бумагой, а просто изнутри светились мутным

человеческим разложением и скорбию. Не травы уже это были, а обрезанные человеческие души.

Фёдор пошёл стороной, не по тропке. И вдруг через час навстречу ему издалека показался тёмный человеческий силуэт. Потом он превратился в угловатую фигуру парня лет двадцати шести. Соннов сначала не реагировал на него, но потом вдруг проявил какую-то резкую, мёртвую заинтересованность.

— Нет ли закурить? — угрюмо спросил он у парня.

Тот, с весёлой оживлённой мордочкой, пошарил в карманах, как в собственном члене.

И в этот момент Фёдор, судорожно крикнув, как будто опрокидывая в себя стакан водки, всадил в живот парня огромный кухонный нож. Таким ножом обычно убивают крупное кровяное животное.

Прижав парня к дереву, Фёдор пошуровал у него в животе ножом, как будто хотел найти и убить там ещё что-то живое, но неизвестное. Потом спокойно положил убиенного на Божию травку и оттащил чуть в сторону, к полянке.

В это время высоко в чёрном небе обнажилась луна. Мертвенно-золотой свет облил поляну, шевелящиеся травы и пни.

Фёдор, лицо которого приняло благостное выражение, присел на пенёк, снял шапку перед покойным и полез ему в карман, чтобы найти пачпорт. Деньги не тронул, а в пачпорт посмотрел, чтобы узнать имя.

— Приезжий, издалека, Григорий, — умилился Соннов. — Небось домой ехал.

Движения его были уверенные, покойные, чуть ласковые; видимо, он совершал хорошо ему знакомое дело.

Вынул из кармана свёрток с бутербродами и, разложив их на газетке, у головы покойного, с аппетитом, не спеша стал ужинать. Ел сочно, не гнушаясь крошками. Наконец, покойно собрал остатки еды в узелок.

— Ну вот, Гриша, — обтирая рот, промолвил Соннов, — теперь и поговорить можно... А?! — и он ласково потрепал Григория по мёртвой щеке.

Потом крикнул и расселся поудобней, закурив.

— Расскажу-ка я тебе, Григорий, о своём житье-бытье, — продолжал Соннов, на лице которого погружённость в себя вдруг сменилась чуть самодовольным доброжелательством. — Но сначала о детстве, о том, кто я такой и откуда я взялся. То есть о радетелях. Папаня мой всю поднаготную о себе мне рассказал, так что я её тебе переговорю. Отец мой был простой человек, юрковатый, но по сердцу суровой. Без топора на людях минуты не проводил. Так-то... И если б окружало его столько же мяготи, сколько сопротивления... О бабах он печалился, не с брёвнами же весь век проводить. И всё не мог найти. И наконец нашёл тую, которая пришлась ему по вкусу, а мне матерью... Долго он её испытывал. Но самое последнее испытание папаня любил вспоминать. Было, значит, Григорий, у отца деньжат тьма-тьмушая. И поехал он раз с матерью моей, с Ириной, значит, в глухой лес, в одинокую избу. А сам дал ей понять, что у него там деньжищ припрятано и никто об этом не знает. То-то... И так

обставил, что мать решила, про поездку эту никто не знает, а все думают, что папаны уехал один на работы, на целый год... Всё так подвёл, чтоб мамашу в безукоризненный соблазн ввести, и если б она задумала его убить, чтоб деньги присвоить, то она могла б это безопасно для себя обставить. Понял, Григорий? — Соннов чуть замешкался.

Трудно было подумать раньше, что он может быть так разговорчив.

Он продолжал:

— Ну вот сидит папаны вечером в глухой избушке с матерью моей, с Ириной. И прикидывается эдаким простачком. И видит: Ирина волнуется, а скрыть хочет. Но грудь белая так ходуном и ходит. Настала ночь. Папаны прилёг на отдельную кровать и прикинулся спящим. Храпит. А сам всё чувствует. Тьма настала. Вдруг слышит: тихонько, тихонько встаёт мать, дыхание еле дрожит. Встаёт и идёт в угол — к топору. А топор у папани был огромный — медведя пополам расколоть можно. Взяла Ирина топор в руки, подняла и еле слышно идёт к отцовской кровати. Совсем близко подошла. Только замахнулась, папаны ей рраз — ногой в живот. Вскочил и подмял под себя. Тут же её и поимел. От этого зачатия я и родился... А отец Ирину из-за этого случая очень полюбил. Сразу же на следующий день — под венец, в церкву... Век не разлучался. «Понимающая, — говорил про неё. — Не рохля. Если б она на меня с топором не пошла — никогда бы не женился на ей. А так сразу увидал — баба крепкая... Без слезы». И с этими словами он обычно похлопывал её

по заднице. А мать не смущалась: только скалила сердитую морду, а отца уважала... Вот от такого зачатия с почти убийством я и произошёл... Ну что молчишь, Григорий, — вдруг тень пробежала по лицу Фёдора. — Иль не ладно рассказываю, дурак?!

Видно, непривычное многословие ввергло Фёдора в некоторую истерику. Не любил он говорить.

Наконец Соннов встал. Подтянул штаны. Наклонился к мёртвому лицу.

— Ну где ты, Григорий, где ты? — вдруг запричитал он. Его зверское лицо чуть обабилось. — Где ты? Ответь?! Куда спрятался, сукин кот?! Под пень, под пень спрятался?! Думаешь, сдох, так от меня схоронился?! А?! Знаю, знаю, где ты!!! Не уйдёшь!!! Под пень спрятался!

И Соннов вдруг подошёл к близстоящему пню и в ярости стал пинать его ногой. Пень был гнилой и стал мелко крошиться под его ударами.

— Куда спрятался, сукин кот?! — завопил Фёдор. Вдруг остановился. — Где ты, Григорий?! Где ты?! С тобою ли говорю?! А может, ты ухмыляешься? Отвечай!

«Отвечай... ай!» — отозвалось эхо.

Луна вдруг скрылась. Тьма охватила лес, и деревья слились с темнотой.

Соннов глухо урча, ломая невидимые ветви, скрылся в лесу...

Полутру, когда поднялось солнце, поляна словно изнутри пронзилась теплом и жизнью: засветились деревья и травы, булькала вода глубоко в земле...

Под деревом, как сгнившее, выброшенное бревно, лежал труп. Никто не видел и не тревожил его. Вдруг из-за кустов показался человек; похрюкивая, он равнодушно оглядывался по сторонам. Это был Фёдор. Тот же потёртый пиджак висел на нём помятым мешком.

Он не смог уйти куда-нибудь далеко и заночевал в лесу, у поваленного дерева, с какой-то тупой уверенностью, что всё обойдётся для него благополучно.

Теперь он, видимо, решил проститься с Григорием.

На лице его не было и следа прежней ночной истерики: оно было втянуто во внутрь себя и на внешний мир смотрело ошалело-недоумевающее. Наконец Фёдор нашёл, как обычно находят грибы, труп Григория.

Свойски присел рядом.

Его идиотская привычка жевать около умершего сказывалась и сейчас. Фёдор развернул сверток и позавтракал.

— Ну, Григорий, не ты первый, не ты последний, — вдруг неожиданно пробормотал он после долгого и безразличного молчания. И уставился не столько на лоб покойного, сколько на пустое пространство вокруг него.

— Недоговорил я многого, — вдруг сказал Соннов. — Темно стало. Сейчас скажу, — было непонятно, к кому он теперь обращался: на труп Фёдор уже совсем не глядел. — Ребятишек нас у матери было двое: я и сестра Клавдия. Но мать моя меня пужалась из-за моей

глупости. В кровь я её бил, втихаря, из-за того, что не знал, кто я есть и откуда я появился. Она на живот указывает, а я ей говорю: «Не то отвечаешь, стерва... Не про то спрашиваю...» Долго ли мало ли, уж молодым парнем поступил я на спасательную станцию. Парень я был тогда кудрявый. Но молчаливый. Меня боялись, но знали: всегда — смолчу. Ребята — спасатели — были простые, весёлые... И дело у них шло большое, широкое. Они людей топили. Нырнут и из воды утопят. Дело своё знали ловко, без задоринки. Когда родные спохватывались — ребята будто б искали утопших и труп вытаскивали. Премия им за это полагалась. Деньжата пропивали или на баб тратили; кое-кто портки покупал... Из уважения они и меня в свою компанию приняли. Топил я ловко, просто, без размышления. Долю свою папане отсылал, в дом... И привычка меня потом взяла: хоронить, кого я топил. И родные ихние меня чествовали; думали, переживающий такой спасатель; а я от угощения не отказывался. Тем более водки... Любил выпить... Но потом вот что меня заедать стало: гляжу на покойника и думаю: куда ж человек-то делся, а?.. Куда ж человек-то делся?! И стало казаться мне, что он в пустоте вокруг покойника витает... А иногда просто ничего не казалось... Но смотреть я стал на покойников этих всегда, словно в пустоту хотел доглядеться... Однажды утопил я мальчика, цыплёнка такого; он так уверенно, без боязни, пошёл на дно... А в этот же день во сне мне явился: язык кажет и хохочет. Дескать, ты меня, дурак, сивый

мерин, утопил, а мне на том свете ещё слаще... И таперя ты меня не достанешь... В поту я вскочил, как холерный. Чуть утро было в деревне, и я в лес ушёл. Что ж, думаю, я не сурьёзным делом занимаюсь, одними шуточками. Словно козла забиваю. Они-то — на тот свет — прыг, и как ни в чём не бывало... А я думаю: «Убил»... А может, только сон это?!

...Попалась мне по дороге девчонка... Удушил её со зла и думаю: так приятнее, так приятнее, на глазах видать, как человек в пустоту уходит... Чудом мне повезло: не раскрыли убийство. Потом стал осторожней... От спасателей ушёл, наглядно хотел убивать. И так меня всё тянуло, тянуло, словно с каждым убийством загадку я разгадываю: кого убиваю, кого?.. Что видать, что не видать?! Может, я сказку убиваю, а суть ускользает?! Ну вот и стал я бродить по свету. Да так и не знаю, что делаю, до кого дотрагиваюсь, с кем говорю... Совсем отупел... Григорий, Григорий... Ау?.. Ты это? — успокоенно-благодушно, вдруг сникнув, пробормотал в пустоту.

Наконец встал. С его лица не сходило выражение какого-то странного довольства.

Механически, но как-то опытно, со знанием, прибирал все следы. И пошёл вглубь...

Узкая, извилистая тропинка вывела его в конце концов из леса. Вдали виднелась маленькая, уединённая станция.

Зашёл в кусты — пошалить. «Что говорить о Григории, — думал он спустя, — когда я сам не знаю — есть ли я».



И поднял морду вверх, сквозь кусты, к виднеющимся просторам. Мыслей то не было, то они скакали супротив существования природы.

В теплоте добрёл до станции. И присел у буфетного столика, с пивом.

Ощущение пива казалось ему теперь единственной реальностью, существующей на земле. Он погрузил в это ощущение свои мысли, и они исчезли. В духе он целовал внутренности своего живота и застывал.

Издалеко подходил поезд. Фёдор вдруг оживился: «В гнездо надо, в гнездо!»

И грузно юркнул в открывшуюся дверь электрички.

## Глава 2

**М**естечко Лебединое, под Москвой, куда в полдень добрался Фёдор, было уединённо даже в своей деятельности.

Эта деятельность носила характер «в себя». Работы, которые велись в этом уголке, были настолько внутренне опустошённые, как будто они были продолжением личности обывателей.

После «дел» кто копался в грядках, точно роя себе могилку, кто стругал палки, кто чинил себе ноги...

Деревянные, в зелени, одноэтажные домишки, несмотря на их выверченность и несхожесть, хватали за сердце своей одиночностью... Иногда там и сям из земли торчали палки.

Дом, к которому подошёл Фёдор, стоял на окраине, в стороне, отгороженный от остального высоким забором, а от неба — плотную железную крышею.

Он делился на две большие половины; в каждой из них жила семья, из простонародья; в доме было множество пристроек, закутков, полутёмных закоулков и человеческих нор; кроме того — огромный, уходящий вглубь, в землю, подпол.

Фёдор постучал в тяжёлую дверь в заборе; её открыли; на пороге стояла женщина. Она вскрикнула:

— Федя! Федя!

Женщина была лет тридцати пяти, полная; зад значительно выдавался, образуя два огромных, сладострастных гриба; плечи — покатые, изнеженно-мягкие; рыхлое же лицо сначала казалось неопределённым по выражению из-за своей полноты; однако глаза были мутны и как бы слизывали весь мир, погружая его в дремоту; на дне же глаз чуть виднелось болезненное изумление; всё это было заметно, конечно, только для пристального, любящего взгляда.

Рот также внешне не гармонировал с пухлым лицом: он был тонкий, извивно-нервный и очень умный.

— Я, я! — ответил Фёдор и, плюнув женщине в лицо, пошёл по дорожке в дом. Женщина как ни в чём не бывало последовала за ним.

Они очутились в комнате, простой, довольно мещанской: горшочки с бедными цветами на подоконниках, акварельки, большая нелепая «мебель», пропитанные потом стулья... Но всё носило на себе какой-то занырливо-символический след, след какого-то угла, точно тайный дух отъединённости прошёлся по этим простым, аляповатым вещам.

— Ну вот и приехал; а я думала, заблудесси; мир-то велик, — сказала женщина.

Соннов отдыхал на диване. Жуткое лицо его свесилось, как у спящего ребёнка.

Женщина любовно прибрала на стол; каждая чашечка в её руках была как тёплая женская грудка... Часа через два они сидели за столом вдвоём и разговаривали.

Говорила больше женщина; а Соннов молчал, иногда вдруг расширяя глаза на блюдец с чаем... Женщина была его сестрой Клавой.

— Ну, как, Федя, погулял вволю?! — ухмылялась она. — Насмотрелся курам и петухам в задницы?.. А всё такой же задумчивый... Словно нет тебе ходу... Вот за что по душе ты мне, Фёдор, — мутно, но с силой, выговорила она, обволакивая Соннова тёплым, прогневившим взглядом. — Так за твою нелепость! — Она подмигнула. — Помнишь, за поездом наперегонки гнался?! А?!

— Не до тебя, не до тебя, Клава, — промычал в ответ Соннов. — Одни черти последнее время снятся. И будто они сквозь меня проходят.

В этот момент постучали.

— Это наши прут. Страшилища, — подмигнула Клава в потолок.

Показались соседи Сонновых, те, которые жили во второй половине этого уютно заброшенного дома.

— А мы, Клав, на беспутного поглядеть, — высказался дед Коля, с очень молодым, местами детским, личиком и оттопыренными вялыми ушами.

Клава не ответила, но молча стала расставлять стулья. У неё были состояния, когда она смотрела на людей, как на тени. И тогда никогда не бросала в них тряпки.

Колин зять — Паша Красноруков — огромный, худой детина лет тридцати трех, со вспухшим от бессмысленности лицом, присел совсем рядом с Фёдором, хотя тот не сдвинулся с места. Жена Паши Лидочка оказалась в стороне; она была

беременна, но это почти не виделось, так искусно она стягивала себя; её лицо постоянно хихикало в каком-то тупом блаженстве, как будто она всё время ела невидимый кисель. Маленькие же нежные ручки то и дело двигались и что-нибудь судорожно хватали.

Младшая сестра Лидочки — девочка лет четырнадцати — Мила — присела на диван; её бледное прозрачное лицо ничего не выражало. Семнадцатилетний же брат — Петя — залез в угол у печки; он вообще ни на кого не обращал внимания и свернулся калачиком.

Всё семейство Красноруковых — Фомичёвых было таким образом в сборе. Клава же здесь жила одна: Соннов — уже который раз — был у неё «в гостях».

Фёдор между тем сначала никому не уделял внимания; но вскоре тяжёлый, словно земной шар, взгляд его стал застывать на свернувшемся Пете.

— Петя у нас боевой! — вымолвила Клава, заметив этот взгляд.

Петенька, правда, отличался тем, что разводил на своём тощем, извилистом теле различные колонии грибков, лишаяев и прыщей, а потом соскабливал их — и ел. Даже варил суп из них. И питался таким образом больше за счёт себя. Иную пищу он почти не признавал. Недаром он был так худ, но жизнь всё-таки держалась за себя в этой длинной, с прыщеватым лицом, фигуре.

— Опять лишаи с горла соскабливать будет, — тихо промолвил дед Коля, — но вы не смотрите.

И он повёл ушами.

Фёдор — надо сказать — как-то странно, не по своему характеру, завидовал Пете. Пожалуй, это был единственный человек, которому он завидовал. Поэтому Соннов вдруг грузно встал и вышел в уборную. И пока были «гости», он уже не присутствовал в комнате.

Клавочка же вообще мало реагировала на «тени»; пухлое лицо её было погружено в сон, в котором она видела разбухший зад Фёдора. Так что в комнате разговаривали одни гости, как будто они были здесь хозяевами.

Дед Коля, вместо того чтобы спросить у Клавы, строил вслух какие-то нелепые предположения о приезде Фёдора.

Соннов приезжал сюда, к сестре, часто, но так же внезапно исчезал, и никто из Фомичёвых не знал, где он живёт или где бродит.

Однажды, года два назад, через несколько часов после того, как он внезапно исчез, кто-то звонил Фомичёвым из какой-то жуткой дали и сказал, что только что видел там Фёдора на пляже.

Лидочка слушала деда Колю со вниманием; но слушала не «смысл» его слов, а что-то другое, что — по её мнению — скрывалось за ними независимо от деда Коли.

Поэтому она смрадно, сморщившись белым, похотливым личиком, хихикала, глядя на пустую чашку, стоящую перед пустым местом Фёдора.

Павел — её муж — был весь в увесистых, багровых пятнах. Мила играла со своим пальчиком...

Наконец, семейство во главе с дедом Колей встало, как бы откланялось и вышло к себе.

Только Петя долго оставался в углу; но, когда он скрёбся, на него никто, кроме Соннова, не обращал внимания.

Клава прибрала комнату, словно обмывая себе лицо, и вышла во двор. На скамейке уже сидел Фёдор.

— Ну как, ушли эти страшилища? — равнодушно спросил он.

— Мы сами с тобой, Федя, хороши, — просто ответила Клава.

«Ну, не лучше других», — подумал Фёдор.

Времени ещё было достаточно, и Фёдор решил пройтись. Но солнце уже опускалось к горизонту, освещая, как в игре, заброшенные улочки подмосковного местечка.

Фёдор устал не столько от убийства, сколько главным образом от своего разговора над трупом. С живыми он вообще почти не разговаривал, но и с мёртвыми это было ему не по нутру. Когда же, точно влекомый загробной силой, он произносил эти речи, то был сам не свой, не узнавал себя в языке, а после — был надолго опустошён, но качественно так же, как был опустошён всегда. Он брёл по улице и, сплёвывая в пустоту, равнодушно отмечал, что Григорий — приезжий, издалека, что труп не скоро найдут, а найдут, то и разведут ручками и так далее. У пивнушки безразлично дал в зубы подвернувшемуся мужику. Выпил две кружки. Почесал колено. И вернулся обратно, мысленно расшвыривая вокруг себя дома, и, войдя в комнату, неожиданно завалился в постель.

Клава наклонилась над его тёплым, побуревшим от сна лицом.

— Небось порешил кого, Федя, — осклабилась она. — Чтоб сны слаще снились, а?! — И Клава пощекотала его член. Потом скрылась во тьме ближнего закутка.



## Глава 3

**С**онновы знали Фомичёвых сызмальства. Но Павел Красноруков появился здесь лет пять назад, женившись на Лидочке.

До замужества Лидочка на всём свете признавала одних насекомых, но только безобразных и похотливых; поэтому она целыми днями шлялась по помойкам.

Павел и поимел её первый раз около огромной, разлагающейся, помойной ямы; она вся изогнулась и подёргивалась, как насекомое, уткнув своё сморщенно-блаженное личико в пиджак Павла. А потом долго и нелепо хихикала.

Но Павла ничего в частности не смущало; его смущал, скорее, весь мир в целом, на который он смотрел всегда с широко разинутым ртом. Он ничего не отличал в нём и в глубине полагал, что жизнь — это просто добавка к половому акту.

Поэтому его прельстила беспардонная сексуальность Лидочки. Сам он, например, считал, что его сердце расположено в члене, и поэтому очень не доверял врачам.

А лёгкое, помойно-воздушное квазислабоумие Лидочки облегчало ему времяпровождение между соитиями. Не раз он трепал её

блаженно-хихикающее личико и смотрел ей в глаза — по обычаю с разинутым ртом. Но даже не смеялся при этом. А Лидочка цеплялась за его могучую фигуру изошрённо-грязными, тонкими ручками. Эти ручки были так грязны, что, казалось, бесконечно копались в её гениталиях.

— Без грязи они не могут, — ласково говорил обычно дед Коля, шевеля ушами.

Оглушивающая, дикая сексуальность Паши тоже пришлась по вкусу Лидочке. Нередко, сидя с мутными глазами за общим обеденным столом, она то и дело дёргала Павла за член.

Часто тянула Пашу — по своей вечной, блаженной привычке — идти совокупляться около какой-нибудь помойки. И Павел даже не замечал, где он совокупляется.

Но спустя год обнаружилось, что Паша всё же очень и очень труден, тяжёл, даже для такой дамы, как Лидинька.

Первое, мутное, ерундовое подозрение возникло однажды на прогулке около пруда, где играло много детей; Павел стал как-то нехорош, глаза его налились кровью, и он очень беспокойно глядел на прыгающих малышей, точно желая их утопить.

Ещё раньше Лидинька чуть удивлялась тому, что Паша дико выл, как зверь, которого режут, во время соития; а потом долго катался по полу или по траве, кусая от сладострастия себе руки, словно это были у него не руки, а два огромных члена. И всё время ни на что не обращал внимания, кроме своего наслаждения.

Конечно, она не могла связать в своём уме этот факт и отношение Павла к детям, но, когда Лидинька — года четыре назад — впервые стала брюхата, всё начало обнаруживаться, словно тень от отвислой Пашиной челюсти надвигалась на мир.

Сначала Паша смотрел на её брюхо с нервно-немым удивлением.

— Откуда это у тебя, Лида?! — осторожно спрашивал он.

И когда Лида отвечала, что от него, вздрагивал всем своим крупным, увесистым телом.

Спал он с ней по-прежнему ошалело, без глаз. Но иногда, резко, сквозь зубы, говорил: «Вспороть твое брюхо надо, вспороть!»

По мере того как оно росло, усиливалось и Пашино беспокойство.

Он норовил лишний раз толкнуть Лидиньку; один раз вылил на её брюхо горячий суп.

На девятом месяце Паша, дыхнув ей в лицо, сказал:

— Если родишь — прирежу щенка... Прирежу.

Родила Лидонька чуть не вовремя, дома, за обеденным столом.

Паша, как ошпаренный, вскочил со стула и рванулся было схватить дитё за ноги.

— В толчок его, в толчок! — заорал он. (Волосы у него почему-то свисали на лоб.)

Дед Коля бросился на Пашу, испугав его своим страшным видом. Дед почему-то решил, что ребёнок — это он сам, и что это он сам так ловко выпрыгнул из Лидоньки; поэтому дед ретиво кинулся

себя защищать. Кое-как ему удалось вытолкать было растерявшегося Пашу за дверь.

Но присутствие младенца — его истошного писка — ввело Павла в собачью ярость, и он стал ломиться в дверь, завывая: «Утоплю, утоплю!»

А разгадка была такова. Паша — раньше, до Лидоньки, у него тоже были неприятности по этому поводу — до смури ненавидел детей, потому что признавал во всём мире только огромное, как слоновые уши, закрывшие землю, своё голое сладострастие. А все побочные, посреднические, вторичные элементы — смущали и мутили его ум. Не то чтобы они — в том числе и дети — ему мешали. Нет, причина была не практическая. Дети просто смущали его ум своей оторванностью от голого наслаждения и заливали его разум, как грязная река заливает чистое озеро всякой мутью, досками, грязью и барахлом...

«Почему от моего удовольствия дети рождаются? — часто думал Красноруков, метаясь по полю. — Зачем тут дети?..»

Как только Павел видел детей, он сопоставлял их со своим сладострастием и впадал в слепую, инстинктивную ярость от этого несоответствия. Подсознательно он хотел заполнить своим сладострастием весь мир, всё пространство вокруг себя, и его сладострастие как бы выталкивало детей из этого мира; если бы он ощущал своих детей реально, как себя, то есть, допустим, детишки были бы как некие для виду отделившиеся, прыгающие и распевающие песенки его собственные капельки спермы, вернее кончики члена, которые

он мог ощущать и смаковать так, как будто они находились в его теле, — тогда Красноруков ничего не имел бы против этих созданий; но дети были самостоятельные существа, и Красноруков всегда хотел утопить их из мести за то, что его наслаждение не оставалось только при нём, а из него получались нелепые, вызывающие, оторванные от его стонов и визга последствия: человеческие существа. Для Павла ничего не существовало в мире, кроме собственного вопля сексуального самоутверждения, и он не мог понять смысл того, что от его диких сладострастных ощущений, принадлежащих только ему, должны рождаться дети. Это казалось ему серьёзным, враждебным вызовом. Он готов был днём и ночью гоняться с ножом за детьми — этими тенями его наслаждения, этими ничто от сладострастия... Всё это, в иных формах и словах, прочно легло в сознание Павла...

Дитё удалось тогда припрятать; дед Коля метался с ним по кустам, залезал на крышу, прятал дитё даже в ночной горшок. Отсутствующая девочка Мила — и та принимала в этом участие. Только Петенька по-прежнему скрёбся в своём углу.

Но Паша не сдавался: серьёзный, с развороченной челюстью, он скакал по дому с огромным ножом на груди. Потом сбежал куда-то в лес...

История эта, правда, разрешилась стороной; дитё само умерло на восьмом dniu жизни. Полупьяный врач определил — от сердца.

К счастью, Лидонька была проста относительно таких исчезновений; детишек она скорей

рассматривала как милую прибавку к совокуплению; поэтому она хоть и поплакала, но не настолько, чтобы забыть о соитии.

Сразу же в семействе водворился мир.

Всё потекло по-прежнему.

Второй раз — через год — Лида забеременела тогда, когда Паша совсем остервенел: он спал с ней по несколько раз в день, бегал за ней, натываясь на столбы, и, казалось, готов был содрать кору с деревьев. Искушал себя и её в кровь.

Паша был так страшен, что в конце концов Лидонька с перепугу дала ему слово умертвить ребёнка. (С легальным абортom уже запоздали.) Это было опасно — но выполнимо; нужно было скрыться — чуть в стороне, в избёнке, в лесу. И пруд для этого выбрали подходящий. Кругом вообще была тьма «невоскресших» младенцев: некоторые уборные и помойные ямы были завалены красными, детскими сморчками: плодами преждевременных родов. Недаром неподалёку гудело женское общежитие.

Избёнка в лесу оказалась уютливой, низкой, с чёрными паутинными углами и низкими окнами...

Паша каждый день пробирался к Лидиньке; и забывая о брюхе, неистово лез на неё.

Дело кончилось неожиданно и неподсудно: перед самыми родами Паша, озверев, полез на Лидоньку; дитё уже должно было выходить и повернулось головкой к выходу, на Божий свет; но Паша, сам не понимая того, пробил его головку своим членом... Лидонька попала в больницу; ребёнок